

А.П. Люсый

**Самосемиозис:
культурологические измерения
текстологического путешествия**

УДК 008:316.42

Исходя из своего текстологического опыта автор развивает одну из исследовательских стратегий журнала в направлении анализа личностных аспектов становления культурологии на постсоветском пространстве. Текстологическая концепция культуры – культуры как суммы и системы локальных текстов – преломляется в сюжете текстологического путешествия - последовательного участия автора в четырех конференциях на юге России и в Крыму. Рассматривается медиасоставляющая локальных текстов (Таганрогского, Кавказского, Крымского).

Ключевые слова: локальный текст, кинотекст, визуальность, медиа, топос, семиотические мутации, дискурс.

A.P. Lyusyuy

Oneself-Semiozis: culturological measurements of textual travel

Proceeding from the textual experience the author develops one of the research strategies of the magazine in the direction of the analysis of personal aspects of formation culturology on the former Soviet Union. The textual concept of culture – culture as the sums and systems of local texts – refracts in a plot of textual travel - consecutive participation of the author in four conferences in the south of Russia and in the Crimea. The media component of local texts (Taganrog, Caucasian, Crimean) is considered.

Keywords: local text, film text, visuality, media, topos, semiotics mutations, discourse, glamour.

Сетевые комары: локализация имени-отчества

«Вот и лето прошло... Только этого мало!». В столь редуцированном виде известное стихотворение Арсения Тарковского воспринимается не как констатация очевидных вещей, а как руководство к практическому действию в гуманитарно-географическом направлении. К счастью, вошедшая в повседневность глокализация, точнее, процесс концептуализации локальных текстов культуры (текстуальная революция!), к чему я оказался в последние годы причастен, позволил последнее (2012 года) лето в культурологическом измерении существенно продлить.

Сначала я отправился в Таганрог (кстати сказать, место реинкарнации, или даже – смерти?) моего некогда царствовавшего полного тезки, несправедливо охарактеризованного поэтом как «властитель слабый и лукавый») на организованную Российским институтом культурологии и Таганрогским государственным пединститутом конференцию «Современное состояние медиаобразования в России в контексте мировых тенденций». Следует, впрочем, отметить, что в Таганрог Александр I прибыл сразу же после основательного знакомства с крымскими достопримечательностями, у меня же получилось наоборот.

Избранный автором этих строк жанр не позволяет охватить всю проблематику конференции, ограничившись своим персональным текстом в свете дальнейшего контекста. Тема моего доклада – «Невидимый оператор: о медиасоставляющей локального текста культуры». Восстанавливая вытесненные в подсознание Петра I таганрогские дискурсы, открытый мной в сети местный исследователь Юрий Пушкин-Гриленкофф указывает на связь идей, проявившихся при создании Троицкой крепости и большой морской гавани для нового флота на Таганьем Рогу, с идеями крестовых походов и «нового Иерусалима». «Забытый Богом городишко», Таганрог второй раз в своей истории становится по-настоящему «столичным», когда в нем поселяется император Александр I, хрестоматийный образ которого – Император-Триумфатор все больше и больше затемнялся негативным образом «царя/человека, потерявшего путь» [8, с. 119]. К сожалению, в начале 2012 г. загадочный таганрогский Пушкин безвременно ушел

из жизни. Никто из организаторов о нем ничего не слышал. Но само понятие «Таганрогский текст» было воспринято слушателями вполне благосклонно.

Таганрог – город компактный. Основные музеи – в пределах досягаемости. Чеховский бренд обороты набирает повсеместно. В необычном запуске оказалась... кабинка для переодевания на пляже, с густой паутиной по углам, основное население которой составляли все же отнюдь не пауки, а комары – наглядное уточнение образа «негативной» вечности от Достоевского к Чехову, и в то же время лучший символ современной медиареальности.

Фамильные мутации

Моя личная текстологическая диалектика при этом развивалась вполне позитивно, на фоне поистине триумфального шествия текстуральной революции по просторам России, в которых она уже не помещается, захватывая и Украину. Кажется, пора образовывать «федерацию текстов», как подсказал мне позже новую формулу зав. отделом славянских литератур Института литературы Национальной Академии наук Украины П.В. Михед, – в параллель усеченному Таможенному союзу. После Таганрога я в обществе директора РИК К.Э. Разлогова и ученого секретаря Н.А. Кочеляевой отправился в Новороссийск, в урочище Широкая Балка, где по случаю образования южного филиала РИК состоялись две конференции по культуре народов юга России.

«Имя, – писал А.Ф. Лосев в “Философии имени”, – есть та смысловая стихия, которая мощно движет неразличимую Бездну к Числу, Число к Эйдосу, Эйдос к Символу и Мифу. Она – цель для всех этих моментов сущности, и только в свете имени понятным делается окончательное направление и смысл всей диалектики сущности. Но Имя есть также та смысловая стихия, которая мощно движет мертвым Телом на путях к Раздражению и Ощущению, к растительному и животному Организму, а Организм к Мысли, Воле и Чувству; оно, наконец, есть и та сила, которая ведет Интеллигенцию к Сверх-Интеллигенции, к Гипер-Ноэзису, к Экстазу умному» [4, с. 151–152]. Для меня эта часть поездки оказалась перемещением из пространства «династического» имени-отчества в пространство фамильных исто-

ков. На Кубани между Темрюком и станицей Анапская моя «редкая» фамилия – аналог если не «Ивановых», то «Петровых» точно.

Согласно словарю В. Даля, есть несколько лингво-географических полюсов происхождения этой фамилии – амбивалентно-трансгрессивный пензенский, евразийско-физиономический владимирский и безусловно позитивный вологодский. «ЛЮСИТЬ (пенз.) – хитрить в деле; лукавить, обманывать; натягивать, жилить в свою пользу; не решаться, пятиться, отрекаясь от слова. **Люситель** или **люсать** бумагу, на заводе: после отжимки черпальной бумаги, с прокладкою сукна, ее разбирают по листу, складывают без сукна под гнет, и снова отжимают, иногда в картоне. **Люса** и **люсма** об. кто люсит; плут, виляла, крючок, жила, обманщик. **Люсо?** нареч. вологодск. ладно, изрядно, гоже, живет. **Люсавый**, влад. у кого приплюснутый нос?» [3, с. 285].

«Всякое бытие, выражающееся в имени существительном, – утверждал в “Философии имени” С. Булгаков, – может быть проецировано на экране пространственности во всяких соединениях. Конечно, фактически не все языки одинаково выработаны и гибки для этой цели и употребляют одинаково простые средства. Однако, в общем, можно сказать, что помощью падежной флексии и предлога могут быть выражаемы всевозможные оттенки пространственности. Мысль становится пространственной» [2, с. 94].

Если расположить описанные В. Далем значения фамилии на карте, получается, что при движении с севера на юг, описанного поэтическим Колумбом Крыма С.С. Бобровым как «Рассвет полночи», фамилия, насыщаясь новыми смыслами, в частности, текстопроизводственными, скорее «портилась», чем расцветала. Однако для С. Булгакова первична именно грамматика, а география вторична, что вполне вдохновляет автора: «Наречие, которое в настоящее время представляет собою, бесспорно, самостоятельную часть речи и грамматическую категорию, в своем историческом происхождении является довольно поздно и возникает вследствие утраты данным словом самостоятельного своего значения во фразе и полноты своего смысла, и сращения, в качестве дополнительного смысла или полутона, с одним из слов, входящих в предложение. Наречия образуются или из прилагательных, игравших роль определения, или из глагольных прилагательных – причастий, которые заменяются деепричастными формами.

Их значение может быть понято только из связи их с тем словом или смыслом, к которому они присоединились, и иной самостоятельной природы они не имеют. Поэтому, с точки зрения интересующего нас различия, наречия выражают собой модальность сказуемого и потому входят в общую категорию предикативности, являясь для нее средством» [2, с. 79].

Как писал И.Л. Сельвинский, поэт с исторически сложившейся двойной, крымской и кубанской, идентичностью, экспонаты первой выставки которого в Симферополе мне когда-то пришлось перевозить из Москвы, «Когда в кавказском кавполку я вижу казака // На белоногом скакуне гнедого косяка...». Рыбак (отнюдь не риторическая фигура в этих местах), как и казак, рыбака (казака) видит издалека. «Люсый? – переспросил краснодарский философ В.П. Гриценко при нашем очном знакомстве, тут же уверенно констатируя: «Крымский текст!»».

– Семиотическая мутация! – аналогичным образом «возвратил» я ему его фирменный концепт.

Любой локальный текст культуры развивается по схеме «вызова-ответа» – «имперского» вызова и местного ответа, в процессе чего и происходит эта самая семиотическая мутация, рождение новых сверхсущностей. Но демонстрировалась эта схема здесь на материале не Крымского, а Кавказского текста.

К месту рождения – как на глобальный экран

Из пространства фамилии открылась дорога в пространство физического рождения и последующих биографических локальностей, таких как детство, отрочество, юность. Появление на свет состоялось в былой столице Крыма, высшего топонимического выражения крымской политической субъектности – Бахчисарае (ось «Москва – Бахчисарай» была одной из определяющих в системе международных отношений XV–XVI вв.). Детство – в селе Партизанское, как было переименовано древнее, еще дотюркского происхождения селение Мангуш (в народе вспоминаемое как Мангуши), отрочество – в поселке Азовское (каковым стал уже крымскотатарский Калай), юность – в Симферополе. Крымский же текст «родился» уже в Москве, как, кстати сказать, и Петербургский.

Стоит ли Крымский текст – Крыма как такового? При любом ответе на этот вопрос, переворачивающий соотношения «Парижа и обедни», я оказался своеобразным олицетворением особенностей современной гуманитарной экономики с ее символическими обменами (и «смертобийствами» в тексте). Для того чтобы сформулировать в общих чертах и запустить концепцию или, по крайней мере, – концепт Крымского текста, в оборот научной жизни России, Украины и Европы, с ее Первой мировой Крымской семантической войной, подразумевающей современные концептуальные «Антанту» и «Тройственный союз» [7], Крым мне пришлось – покинуть. Теперь первый раз въезжаю на родину через Керченский пролив на ночном автобусе (уже самостоятельно, коллеги уехали по другому маршруту). Пограничник просит назвать хотя бы один крымский адрес, и я спросонок вспоминаю – турбаза имени Мокроусова (руководителя партизанского движения и в гражданскую, и в Великую Отечественную войну).

Таможенник, при «просвечивании» чемодана, интересуется, что за книги я везу.

– «Поэтика предвосхищения» – честно признаюсь я, не скрывая и своего авторства. Ранее, при двойном транзитном пересечении поездом Москва – Таганрог украинской границы, на вопрос о наличии каких-либо лекарств с собой (что-то новое!), я предпочел соврать: «Нет, только леденцы...».

Минуя Керчь, и, нельзя объять необъятное, Волошинский фестиваль в Коктебеле, Гриновские чтения в Феодосии и Шмелевскую ассамблею в Алуште (упомянутый текст «работает» теперь в Крыму повсеместно, за всем не угнаться), я прибыл через Симферополь в Саки, чтобы стать участником XI Международного симпозиума «Русский вектор в мировой литературе: крымский контекст».

Исходя из положения, что текст культуры может быть выражен как на «естественном языке» своего происхождения, так и на языках различных других видов искусств, я предлагаю рассматривать крымский кинотекст как субтекст крымского текста русской культуры. Прослеживая основные вехи его формирования на основе медиального движения от пушкинской Нереиды к набоковской Лолите, с пейзажем «Русской Ривьеры» посередине, благодаря фильму «За счастьем» режиссера Бауэра, ставшего учреждающим явлением крымского кинотекста, подобного поэме «Таврида» С. С. Боброва в литературе, я

предлагаю такую рабочую формулу данного кинотекста: «Грудь Нереиды, ноги Лолиты», ранее озвученную в моих «Опытах ориентации в пространстве крымского кинотекста» (четвертая глава коллективной монографии «Семиозис и культура: лабиринты смысла») [9, с. 242–264].

Фильм «За счастьем», оказавшийся «сверхпродуктивным» для визуализации русской литературы и культуры в целом, задал саму парадигму нового любовного треугольника эпохи модерна – мужчина, женщина и малолетняя дочь последней [9]. Собственно, и С. Бобров в «Тавриде» продемонстрировал аналогичный треугольник, но в разорванном виде. В собственно «Тавриде» (1798), первом варианте его поэтической энциклопедии Крыма, в которой крымская тема явилась в литературу сразу же в своем высшем выражении, адресат его любовных поэтических посланий – Зарена, явно местного происхождения (Пушкин, как известно, изменил имя своей героини «Бахчисарайского фонтана» лишь на одну букву). Во втором, изданном через шесть лет варианте этого произведения – «Херсонида», любимая носит имя – Сашена (оставаясь ожидать поэта где-то на севере и оттуда воспринимающая его призывы и предостережения в духе «восток – дело тонкое»). Такой получается претекст «утаенной» любви», или – любовей? Именно претекст, созданный прежде всего из фигур речи, а не реальных прототипов.

Набоковская «Лолита» в значительной степени является переработкой этого фильма. По мнению О.К. Беспаловой, у Набокова петербургский и крымский мифы как генераторы соответствующих текстов, перевернулись. «Именно кримский миф, а не наоборот... вызвал появление петербургского мифа в дальнейшем творчестве Набокова. В стихах “докрымского” периода (юношеский сборник “Стихи”, 1916), написанных непосредственно в Петербурге и его окрестностях, где речь не идет о мифопоэтическом пространстве Северной Пальмиры, поэтическое внимание Набокова занято совсем иными “материями”: первой любовью, первыми разлуками. Петербург служит лишь немым свидетелем бурного романа лирического героя, нейтральным фоном, на котором еще ярче выступает образ героини – адресата стихов Набокова (“Столица”, “У дворцов Невы я брожу, не рад...”). Оказавшись в “чужом” пространстве Крыма, Набоков кардинально меняет свой взгляд на “малую родину”. Он погружается в “пушкинские

ориенталии”, и, начиная создавать первые слои “кримського макромифа”, оглядывается назад с тоской об утраченном. Окончательно утратив родину, Набоков начинает уже сознательно выстраивать свой петербургский миф, недаром первые его признаки выявляются лишь в стихах, написанных за границей (“Петербург” – 1921 р., “Петербург” – 1922 р., “Петербург” – 1923 р., “Санкт-Петербург” – 1924 р.)» [1, с. 8]. Рожденная в Крыму ностальгия Набокова по России симметрична крымской ностальгии Пушкина – сначала из Новороссии, а потом из России как таковой, с сожалениями насчет «неподготовленности» своего восприятия Крыма наяву.

По инициативе евпаторийского писателя Е.Г. Никифорова я также принял участие в презентации совместного проекта «Крымский текст сегодня: продолжение традиции». Основным содержанием вечера стало чтение Никифоровым избранных глав романа «Дом-музей», опыта карнавализации крымской литературной жизни, одним из персонажей которой стал и ваш покорный слуга (под именем *Непавич*, в основе чего стала обнаруженная в начале лета то ли авторская, то ли переводческая неточность насчет направления течений в Которском заливе, отмеченных в романе Милорада Павича «Ящик для письменных принадлежностей», на основе личного погружения и в роман, и в сам залив). Непавич – в паре с Непалычем, под прозвищем которого выступает наш влюбленный в Непал земляк поэт В.П. Зуев.

– Правда ли, что название симпозиума заимствовано у вас? – спросила соседка на традиционном банкете. Я вспомнил о журнале с придуманным когда-то мной названием – «Крымский контекст», первоначально обратившим на себя внимание, но позже оказавшимся брендом для попытки гламурного книгоиздания любовных романов.

Общим итогом поездки стало участие в VI Севастопольских Кирилло-Мефодиевских чтениях, организованных Севастопольским городским гуманитарным университетом на упомянутой турбазе имени Мокроусова, где предметом моего рассмотрения стало место крымского текста в цивилизации гламура (на материале современного кинематографа, с фактически уже состоявшейся Переяславской кинорадой). Подробнее об этом в отмеченных выше «Опытах ориентации» [9].

В конце летнего текстологического сезона по утрам медуз у западного побережья Крыма примерно столько же, сколько было змей на тропах Черногории в начале лета. Ни там, ни здесь укушен я не был. Остаются разве что глобальные угрозы и риски очередного «века-волкодава», как и возможности их текстологических укрощений.

-
1. Беспалова О. К. Крымский макромиф в жизни и творчестве В. В. Набокова: автореф. дисс... канд. филол. наук. Симферополь, 2006.
 2. Булгаков С. Философия имени. Париж: YMCA-Press, 1953.
 3. Даль В. И. Толковый словарь живаго великорускаго языка. Т. 2. И-О. СПб.; М.: Издание книгопродавца-типографа М.О. Вольфа, 1881.
 4. Лосев А. Ф. Философия имени. М.: Академические проект, 2009.
 5. Люсый А. П. Крымский текст русской литературы. СПб.: Алетейя, 2003.
 6. Люсый А. П. Наследие Крыма: геософия, текстуальность, идентичность. М.: Русский импульс, 2007.
 7. Люсый А. П. Новейший Аввакум: О феноменологии Петербургского текста и Первой мировой Крымской семантической войны // Международный журнал исследований культуры. 2011. № 1 (2). URL: <http://www.culturalresearch.ru/ru/archives/63-selfother>
 8. Люсый А. П. Невидимый оператор: о медиасоставляющей локального текста культуры // Современное состояние медиаобразования в России в контексте мировых тенденций / Отв. редактор К. Э. Разлогов и А. В. Федоров. М.: Российский институт культурологии, 2012. URL: <http://www.ricur.ru/page.php?r=4#tag2012>
 9. Люсый А. П. Между Нереидой и Лолитой: Опыты ориентации в пространстве крымского кинотекста // Семиозис и культура: лабиринты смысла: монография. Сыктывкар: Коми пединститут, 2012.